

# ЮРИЙ МАКАРОВ



## МОЯ СЛУЖБА В СТАРОЙ ГВАРДИИ

ВОЙНА И МИР ОФИЦЕРА  
СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА



1905–1917



Юрий Макаров

**Моя служба в старой гвардии.  
Война и мир офицера  
Семеновского полка. 1905–1917**

«Центрполиграф»

1951

УДК 93-94

ББК 63.3(2Рос-Рус)535+63.3 (2Рос-Рус)6

## **Макаров Ю. В.**

Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917 / Ю. В. Макаров — «Центрполиграф», 1951

ISBN 978-5-227-09872-6

Юрий Владимирович Макаров — русский дворянин, кадровый офицер гвардии, вся военная служба которого в старой России была связана со знаменитым Семеновским полком, основанным Петром I. Сразу после юнкерского училища Юрий Макаров поступил в лейб-гвардии Семеновский полк и оставался верен ему всю жизнь, даже в те тяжелые времена, когда полк перестал существовать, а его офицеров, уцелевших в боях Первой мировой войны, разметало не только по России, но и по всему миру. Но память о своем полку бывшие семеновцы хранили свято. Перед Первой мировой войной Юрий Макаров закончил офицерские курсы восточных языков и был направлен в аппарат Министерства иностранных дел, но сразу после начала войны подал рапорт с просьбой вернуть его в родной полк. Со своим полком Макаров прошел самые трудные периоды войны, когда его подразделения несли гигантские потери, и сам не раз был тяжело ранен, но после лечения возвращался в строй... Но эта книга не только о войне и нелегкой военной службе — «балы, красавицы, лакеи, юнкера» тоже пройдут перед глазами читателя, как и множество офицеров и общественных деятелей, оставивших след в истории, — от полковника Преображенского полка А.П. Кутепова, будущего генерала Белой армии и лидера монархистов, до юного семеновца, подпоручика М.Н. Тухачевского, будущего советского маршала... Юрий Макаров дает широкую картину военной жизни начала XX века, рассказывая обо всем с тонким юмором, ярко и образно. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 93-94

ББК 63.3(2Рос-Рус)535+63.3 (2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-227-09872-6

© Макаров Ю. В., 1951

© Центрполиграф, 1951

## Содержание

Юрий Владимирович Макаров	6
От издательства	7
Моя служба в старой гвардии.	8
Семья, корпус, училище, выход в полк	9
Конец ознакомительного фрагмента.	33

**Юрий Владимирович Макаров**  
**Моя служба в старой гвардии. Война и мир**  
**офицера Семеновского полка. 1905—1917**

© «Центрполиграф», 2023

\* \* \*

## От издательства

Юрий Владимирович Макаров – офицер гвардии, служба которого была связана со знаменитым Семеновским полком, основанным Петром I. Юрий Макаров, в юности вступив в лейб-гвардии Семеновский полк, оставался верен ему даже в те времена, когда полк перестал существовать, а его офицеров, уцелевших в боях Первой мировой войны, разметало по миру. Но память о полке бывшие семеновцы хранили свято.

Юрий Макаров в мирное время, в 1907 году, был откомандирован на офицерские курсы восточных языков при Министерстве иностранных дел, изучил турецкий, персидский и арабский языки. В 1911 году он получил предложение перейти в аппарат МИД (вероятно, для совмещения дипломатической работы с военной разведкой) и оставил Семеновский полк. Но с началом Первой мировой войны вернулся в родной полк и отправился на фронт, в самую гущу боев.

Как он говорил, в этом была и «доля любви к полку, где почти все были мои товарищи и много искренних друзей. Допустить такую возможность, что они уйдут, а я сильный и еще молодой... буду в комфорте и в безопасности сидеть дома, было трудно. Невозможно также было себе представить, как я буду себя чувствовать и выглядеть, когда по окончании войны полк вернется домой, его будут встречать, приветствовать, чествовать... А что я буду тогда делать, окопавшийся в тылу поручик в запасе? Ну, а если убьют... У меня есть сын... Передам ему незапятнанное, честное имя...»

Макаров прошел трудные походы 1914–1915 годов, когда его подразделения теряли от 30 до 60 % состава, когда на глазах гибли товарищи, и сам он не раз был тяжело ранен, но после лечения возвращался в строй. Дождался перелома, когда появилась надежда на победу, а потом – полного развала армии в период бурных событий 1917 года...

Как и многие однополчане, Макаров оказался в эмиграции. Турция, Болгария, Франция, наконец, Аргентина. Последние десятилетия своей жизни он прожил в Буэнос-Айресе. В 1940-х годах Ю.В. Макаров начал работу над книгой воспоминаний. Темы послереволюционных скитаний в ней почти нет, только Россия и императорская гвардия... Множество интересных деталей, в том числе бытовых, портреты людей, занявших позже место на страницах учебников истории, широкая картина событий, увиденная глазами офицера... О чем-то он писал с юмором, что-то позволял себе покритиковать.

Очевидно, что к России советской у Макарова не было ни ненависти, ни злобы, он с интересом и гордостью следил за ходом боев Отечественной войны, когда сыновья русских солдат Первой мировой войны показали германской армии, на что они способны.

С болью вспоминая разброд и шатание на фронте после февраля 1917 года, отказ солдат подчиняться офицерам, Ю.В. Макаров писал:

«То, что через 28 лет, еще при жизни некоторых из этих офицеров, сыновья тех солдат, которых им приходилось успокаивать, уговаривать и упрасивать, возьмут Берлин, никому в голову придти не могло... То, что тогда творилось кругом, было мрачно, безнадежно и беспросветно. Ясно было одно, что бесчисленные кровавые жертвы принесены даром, что война проиграна, что армия разлагается... и чем это все кончится, одному Богу известно, вернее всего полной победой Германии и разделом России».

Тем более победным казался бывшему офицеру май 1945 года, когда он завершил работу над мемуарами.

Опубликованы воспоминания Ю.В. Макарова были в 1951 году в Буэнос-Айресе.

**Моя служба в старой гвардии.  
Война и мир офицера Семеновского полка.  
1905–1917**

*Памяти русских воинов, отстаивавших родную землю на  
протяжении ее тысячелетней истории, посвящается*

## Семья, корпус, училище, выход в полк

Люди, описывающие свою жизнь или отрезок этой жизни, начинают обыкновенно со своей биографии. Те же, кто имеют честь и сомнительное счастье принадлежать к ныне вымершей породе российского дворянства, не забывают поговорить о своей родословной, причем почти всегда первый предок, «родоначальник», оказывается откуда-нибудь «выходцем», то из Швеции, то из цесарской земли, то, наконец, из Литвы. И чем дальше место, из которого вышел этот «выходец», тем считается почетнее.

Дворяне Безобразовы говорили, что они происходят от рыцаря шведа, который имел обыкновение выходить на битву «без образа». Дворяне Хомутовы рассказывали, что они ведут свою фамилию не от всем известного и очень полезного предмета русской упряжи, а от шотландца Хамильтона. Я никого не хочу задевать. Возможно, что так оно на самом деле и было, но не могу не отметить, что наиболее распространенная версия почти всегда была такая. Какой-нибудь «честной муж», с неудобопроизносимым именем, редко позже княжения Василия Темного, въезжает в Москву и поступает на службу к московскому государю, а от него уже ведут свое начало все дворяне Перфильевы, Савельевы, Кондратьевы и т. д.

Недавно мне попала в руки изданная в Советском Союзе книга графа А.А. Игнатьева «50 лет в строю». При ближайшем рассмотрении оказалось, впрочем, что в строю им было прослужено четыре года, а 46 лет в штабах, в управлениях и за границей. В своей интересной книге почтенный автор, впоследствии генерал-майор советской службы, рассказывает, что о своей родословной он случайно узнал, уже будучи русским военным агентом в Париже. Свежо предание, но верится с трудом. Должен покаяться, что о своей собственной я узнал, будучи всего лишь поручиком и далеко не случайно, а специально для этой цели отправившись в Сенат, в Департамент герольдии, где мне показали очень толстую книгу нашего рода, над которой с большим интересом я просидел несколько часов. Из материалов этой книги и из кое-каких семейных преданий и документов мне удалось установить приблизительно следующее. Ни на каких «выходцев», в качестве предков, мне претендовать не приходится. Таковыми были обыкновенные костромские мужики, которые с незапамятных времен для своего скудного пропитания рубили густой костромской лес и ковыряли неплодородную костромскую землю.

Хоть и не очень яркий, без рыцарей и трубадуров, но свой феодализм существовал и на Руси. Вызывался он насущной необходимостью. Чтобы жить, Московское государство должно было выколачивать подати и вести постоянные чуть не ежегодные войны. «Сермяжным ратникам» нужны были командиры. Поэтому правящий, вернее, «служилый» класс рос непрерывно. Княжата, бояре и крупные дворяне из сидевших на их землях мужиков выбирали тех, кто позажиточнее и посмышленее, а московская власть «верстала» их землями и пустошами, конечно с сидевшими на них крестьянами. Это были тогдашние «кулаки», но слабое государство, естественно, держало упор на тех, кто был посильнее.

По преданию, нашими «сюзеренами» были галицкие (не южного, а костромского Галича) дворяне Нелидовы, которые, в свою очередь, состояли «под рукой» у бояр Романовых. В качестве курьезной подробности упомяну – это я вычитал у Валишевского<sup>1</sup>, – что под Нелидовыми служили и Отрепьевы, из которых небезызвестный Григорий по ватиканской интриге чуть-чуть не умудрился перевернуть весь ход российской истории.

Когда точно произошло «поверстание» и превращение нас из мужиков в дворяне, сказать трудно. Судя по тому, что, по данным толстой книги, мое поколение является десятым, а до первого было, наверное, два или три, которые Макаровыми еще не назывались, а писались «по

---

<sup>1</sup> Валишевский Казимир (1849–1935) – польский историк и публицист, известный в России сочинениями о событиях XVIII вв.

отцу», можно думать, что это счастливое событие имело место в царствование Ивана Грозного или Федора Иоанновича. Из толстой книги и из семейных преданий я узнал, что, кроме Нелидовых, с которыми мы породнились, нашими родственниками и свойственниками были многие известные костромские семьи: Шиловы, Зюзины, Сипягины, Шулепниковы и Куломзины. Кое-кто из представителей этих семей в последние царствования достигли степеней известных, ходили в послых и в министрах, но на нас этот блеск никогда не распространялся. Если не считать петровского кабинет-секретаря Алексея Васильевича Макарова, который перед воцарением Анны Иоанновны был одним из «верховников», получил земли недалеко от Москвы, а прямые потомки его даже герб, где изображена какая-то птица, все без исключения мои предки были «недоросли из дворян», и в этом звании поступали на военную и морскую службу. Выше «премьер-майора» и «флота лейтенанта» они обыкновенно не поднимались.

В своей известной речи о Пушкине В.О. Ключевский провел параллель между двумя типами выведенных у Пушкина дворян, дворян полезных и бесполезных. Один князь Верейский, утонченный европеец, воспитывавшийся за границей, которому все отечественное было чуждо и непонятно. Другой – «недоросль из дворян» Петруша Гринев. На стороне Петруши и всех подобных ему недорослей, в числе российских войск собственнножно протопавших по Германии, по Франции, по Италии и по Швейцарии, лежат все симпатии знаменитого историка.

Мой прадед Карп Федорович был флота лейтенантом и под командой Алексея Орлова громил турецкий флот при Чесме. Сын его, Егор Карпович, мой дед, в молодых годах сражался под Бородином и в 1814 году в рядах Галицкого мушкетерского полка входил в Париж. У нас в семье долго хранился хрустальный стакан, где в овальном медальоне золотой александровской вязью было изображено: «Ликуй, Москва, – в Париже росс, взят 18 марта 1814 года». Вернувшись с войны, дед прослужил еще лет десять, в чине премьер-майора вышел в отставку и поселился в своей галицкой деревне Бортниково. Еще года через два он женился, больше по расчету, чем по любви, на молодой, некрасивой, но довольно богатой ярославской девице Надежде Ивановне Ростовцевой.

В нашем северном краю построенные из сосновых бревен дворянские гнезда, при жаркой топке семи месяцев в году, горели круглым счетом каждые 30–40 лет. Вскоре по приезде сгорело дотла и дедовское Бортниково, после чего семья переселилась на жительство в имение бабушки, в Любимский уезд Ярославской губернии. Там дом был большой и поместительный, и тоже, разумеется, деревянный. После смерти бабушки сгорел и он, но на этот раз из него удалось кое-что спасти. Тот дом, который помню я, был по счету третий и был построен уже моим отцом.

В каждом дворянском доме жили старые слуги, больше члены семьи, чем слуги. Были такие и у нас. Из них главная, первый друг и советник моей матери, высокая, строгая и худая старуха, всегда в темном платье и в темном платке, Варвара Дементьевна, была дочка бабушкиной ключницы и родилась крепостной. Из ее рассказов о старине я узнал много интересного.

Потихоньку от матери, которая считала, что ребенку таких вещей лучше не сообщать, Варвара Дементьевна рассказывала мне про жизнь бабушки и деда, которых хорошо помнила. Между собою они жили плохо. Общего у них было мало. Бабушка была очень образованная женщина. В то время зачастую женщины бывали гораздо образованнее мужчин. В ее сундуке с книгами, который я разыскал на чердаке, были тома Вольтера, Руссо, Корнеля, Расина, Шатобриана, «Дух законов» Монтескье и несколько романов г-жи Жанлис, за которыми отдыхал Кутузов. Все по-французски. Были там и английские, и две-три итальянские книжки. Из русских были Карамзин и Жуковский.

Характером бабушка была очень сдержанная женщина, никогда не возвышала голоса и была строга и к себе, и к другим. «Телесные наказания» она у себя отменила и «подданных» своих работой не обременяла. Ее побаивались, но за хорошую жизнь и справедливость уважали все поголовно.

Дед был красив, еле образован, характера веселого и легкого, и имел две слабости: любил выпить, не в одиночку, а с друзьями, и был великий ходок по женской части. Эта последняя слабость, между прочим, стоила ему жизни.

Наш земляк, ярославский помещик Н.А. Некрасов, писал про «знакомые места, где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста, текла среди пиров, бессмысленного чванства, разврата грязного и мелкого тиранства...». Тиранством дед вряд ли занимался, он был не злой человек, но разврата и пьянства было, конечно, в изобилии. У себя в Соболеве, принадлежавшем бабушке, которую он побаивался, он себе ничего не позволял, но в отдаленных деревнях куролесил напропалую.

В шести верстах от бабушкиного Соболева, по дороге к Любиму, лежало большое и богатое имение Бужениново. Прекрасная широкая аллея из четырех рядов высоченных берез тянулась на две версты, а в глубине стоял каменный дом, терраса которого выходила на реку Обнору. В мои времена от дома оставались одни груды кирпичей. В тридцатых годах прошлого столетия в Буженинове проживал бывший гусар, холостой помещик Грязев, который задавал пиры, принимал у себя весь уезд, держал музыкантов и псовую охоту. Но там же происходили развлечения и более интимного характера, только для холостых. Это были форменные оргии, на которые сгоняли девок, накачивали их вином, а пьяный хозяин, с гусевым кнутом в руке, заставлял плясать сельского попа, который, подобрав полы рясы, пускался вприсядку, к вящему удовольствию гоготающих собутыльников. Непременным членом таких веселых времяпрепровождений был мой дед, первый собутыльник и закадычный друг хозяина.

У деда был наперсник, молодой парень и его любимый кучер, Алешка. С Алешкой они совершали наезды на соседние деревни, вместе ввали бабушке и, несмотря на разницу лет, – деду было хорошо за сорок, а Алешке с небольшим двадцать, – секретов друг от друга не имели. Через их руки прошел не один десяток баб и девок, и всех их они делили полюбовно. И вот, наконец, попалась между ними одна, которая для Алешки оказалась настоящей и единственной, такой, за которых люди идут «на позор и под меч палачей». Уступить он ее не мог и стал задумываться. А дед, ничего не подозревая, продолжал свои атаки и, надо думать, желаемое получил. Раз поздно ночью, после попойки, возвращались они из Буженинова к себе домой в Соболево. Ехали на паре, «гусем». В наших местах, где пять месяцев снег лежит на полтора аршина и где имеется только одна укатанная дорога, иначе ездить и нельзя. А затем представляю себе, как все произошло. Закутанный в медвежью шубу и в меховой шапке, в ковровых санях, дед спал и поклевывал носом. Светила луна. Ехали лесом. По бокам дороги стояли огромные ели и протягивали белые пушистые лапы. Снег на них блестел ослепительно и казался уже не белым, а то красным, то голубым. Промерзшие лошади бежали дружно, и полوزья пели свою песню. Вдруг лошади остановились. «Что ты?» – промычал дед. «А до ветру», – отвечал Алешка. Дед снова заснул, а тот слез с облучка, зашел за сани, поднял заранее припасенный ломик и страшным ударом размозжил деду голову. После этого он скрылся, а лошади сами привезли деда домой.

Когда сказали бабушке, она первым делом распорядилась разрубить в щепки и сжечь окровавленные сани и на следующий же день назначила похороны, на которых не проронила ни одной слезинки. Ни докторских свидетельств для подтверждения смерти, ни сыскных отделений в те времена не существовало. Вся дворня была собрана, все целовали Евангелие и все поклялись молчать. А когда дня через три приехал «капитан-исправник», свой же помещик и дворянин, ему было объявлено, что дед скоропостижно умер от удара. Убийцу не нашли, потому что не искали.

Смерть деда, и какая смерть, была для бабушки большим горем. Она его не уважала, но по-своему очень любила. Опытные люди говорят, что любить можно и не уважая. После его смерти всю свою любовь она перенесла на детей, которых было трое, две девочки и годовалый мальчик, мой отец.

Воспитанием детей бабушка занималась сама и воспитала их на славу, особенно сына, которого любила без памяти. Говорят, что людские характеры передаются через поколение. Отец рос умным и серьезным мальчиком, и ученье ему давалось легко. Без всяких гувернеров и учителей, которых бабушка имела полную возможность нанять, но не хотела, она выучила его русскому, французскому и немецкому языкам и подготовила его так хорошо, что вступительный экзамен он выдержал первым и так и шел все четыре года, окончив с «занесением на мраморную доску». Когда отцу исполнилось 13 лет, бабушка Надежда Ивановна, с болью в сердце, отправила его в Петербург под крылышко к своему младшему брату, Якову Ивановичу Ростовцеву, впоследствии графу и одному из главных сотрудников Александра II по освобождению крестьян. Поместили отца в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, которую когда-то по кавалерийскому отделению окончил Лермонтов и куда, в том же 1852 году, был принят Модест Мусоргский, будущий композитор. Так как отец был также на пехотном отделении, нужно думать, что они хорошо друг друга знали.

В 1856 году, семнадцатилетним мальчиком, отец кончил школу и вышел прапорщиком в Измайловский полк. В том же году, в составе гвардии, он выступал с полком на охрану Балтийского побережья. Севастополь тогда еще держался, а в Петербурге опасались высадки английского флота, который под командой адмирала Сеймура крейсировал неподалеку от Кронштадта. Как известно, это была демонстрация, которая ничем не кончилась.

В полку отец прослужил всего семь лет. Он мог бы продолжать служить и делать карьеру, как делали многие из его сверстников, но подошло освобождение крестьян, и из Петербурга все лучшее, все те, кто бескорыстно хотели служить «младшему брату», потянулись в деревню. В 1863 году отец вышел в отставку (бабушка тогда уже умерла), вернулся к себе в Соболево и с воодушевлением занялся крестьянскими делами. В нашей губернии он был одним из первых «мировых посредников», то есть людей, на которых было возложено настоящее освобождение крестьян, – отделение их от помещиков и наделение их землей. Тогда, как говорил Некрасов, «порвалась цепь великая, порвалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику». В нашей стороне процесс прошел сравнительно безболезненно. Земля у нас недорогая, и ее было много. Хватило на всех.

Когда через несколько лет ввели «мировых судей», отец был единогласно выбран на эту должность. А затем пришло земство, и ему отец посвятил всю свою жизнь.

У отца и матери было шесть человек детей, из которых я был самый младший, и между следующим братом и мной было девять лет разницы. По зимам мы жили в Ярославле, где отец служил по земству и где у нас был свой дом на Соборной площади. Старшие братья учились в гимназии, а на лето все, кроме отца, переезжали в деревню, где жили с мая и до сентября.

В деревне дом был трехэтажный. Первый, полуподвальный этаж, где помещалась кухня и жила прислуга, был каменный, а второй и третий деревянные. С широкого каменного крыльца люди поднимались вверх и входили в переднюю, которая носила громкое название «лакейской», хотя в мои времена никаких «лакеев» там уже не было. Но там стояли «лари», на которых, если бы таковые существовали, они могли бы спать. Из «лакейской» дверь вела в кабинет отца. Там стоял большой кожаный диван, на котором отец спал, огромный письменный стол, в котором ящики запирались со звонким щелчком, и во всю стену книжный шкаф, где под стеклом покоились Дарвин, Бокль, «Жизнь животных» Брема, полное собрание сочинений Белинского, одиннадцать томов Герцена и целые полки «Современника» и «Отечественных записок». На шкафу валялось и пылилось всякое оружие: морской палаш, кавалерийские сабли и несколько шпаг, в кожаных потрескавшихся ножнах, эпохи Екатерины и Александра I, бывшее вооружение наших воинственных предков.

Другая дверь из «лакейской» шла в зал, или «залу» (женского рода). В зале ни хрустальных люстр в чехлах, ни зыбких паркетных полов не имелось. Это была уже принадлежность дворянских гнезд рангом много выше нашего. Зато мебель, как полагалось, была целого крас-

ного дерева, очень жесткая, порядочно неудобная и чрезвычайно прочная. В простенках, в таких же рамах красного дерева, висели зеркала, имевшие свойство то вытягивать отраженные фигуры, то их расширять почти до неузнаваемости, а под зеркалами стояли «подзеркальники» и на них стеклянные подсвечники в медной оправе. На столе перед диваном стояла бронзовая лампа, в которую до нашей керосиновой эпохи наливалось масло. По стенам висели «портреты предков», кисти неизвестных и не весьма искусных мастеров. Висел там флота лейтенант Карп Федорович, в голубом кафтане, портрет, который брат повесил на стену, вытащив его из амбара, где он покоился много лет и где его почему-то пощадили мыши. Против него висел дед, в пехотной форме, с медалью 12-го года. Немного поодаль помещался юноша в форме гвардейской школы, мой отец. Почетное место над диваном занимал бритый господин в синем фраке, в парике и кружевной манишке, а рядом с ним полногрудая дама в роброне. Эти люди должны были изображать прадеда Ивана Ростовцева и его жену, рожденную Вадбольскую.

По бокам от изразцовой печки стояло два с застекленным верхом шкафа, так называемые горки. В горках под стеклом красовались вещи николаевского фарфора, чашки, фигурки и пасхальные яйца, а на верхних полках много десятков из тонкого стекла разносортных бокалов на длинной ножке и очень узких. В них во время парадных обедов наливалось шампанское, то самое, про которое писал Пушкин, что «между жарким и бланманже цимлянское несут уже». В простенке около окна, рядом с дверью в «диванную», висел старый длинный английский барометр, с винтом в нижней крышке. В бурю, в грозу и в проливной дождь, сколько бы вы ни крутили винт и ни стучали пальцем по стеклу, он всегда и неукоснительно показывал «bright» (брайт), по-нашему «ясно».

Рядом с оптимистическим барометром висела рамка, а в ней под стеклом, с «печатами вислыми», грамота царей Ивана и Петра, при правительнице Софье, где Федору Гаврилову сыну Ростовцеву в Ярославском воеводстве жаловались пустоши и уголья. В другой стороне залы, около лестницы в третий этаж, стоял ореховый рояль с длинным хвостом, фабрики Вирдта, который на моей памяти никогда не настраивался и тем не менее сохранял немножко сиплый, но очень приятный звук. Этот почтенный инструмент за год до освобождения крестьян отец послал для развлечения своим старшим сестрам, двум перезрелым девицам, которые главную часть своего времени проводили, вышивая на пяльцах. Из их не слишком талантливых, но усидчивых работ помню две картины, которые висели в других комнатах. Одна изображала Ромео и Джульетту, сцену у балкона, а другая, огромная, Петра Великого, спасающего из воды солдата. Вокруг лодки бушевали пенистые волны с белыми гребнями, Петр стоял во весь рост, волосы у него развевались по ветру, а на боку висела вышитая серебряным бисером сабля. Самое замечательное было то, что обе руки у Петра были заняты. Одна держала руль, а другая была протянута вперед. От утопающего виднелись только пальцы. Надо думать, что если бы на деле все происходило так, как было изображено на картине, бедняга бы, наверное, утонул.

Больше всего в зале мне нравилась нижняя часть оконных переплетов. Туда были вставлены разноцветные стекла, красные, синие, желтые и зеленые. По моему тогда малому росту, на мир Божий мне приходилось смотреть исключительно через эти стекла, и через них и сад, и беседка, и качающиеся березы приобретали характер волшебный и фантастический. Вообще в раннем детстве наш дом мне казался громадным, а такие необыкновенные места, как чулан под лестницей, чердак и нежилые комнаты рядом с кухней, были полны таинственных и страшных возможностей. Со временем вступил в силу обратный процесс. Уже в школьном возрасте, приезжая каждую весну на каникулы в Соболево, я всякий раз удивлялся, что дом и комнаты стали такими маленькими.

Из «диванной» стеклянная дверь вела на балкон с белыми колоннами, а с балкона, около которого росли кусты сирени и мальвы, лестница спускалась в так называемый «маленький сад». Там были дорожки, которые постоянно зарастали травой, клумбы цветов, георгины, астры и настурции, а в куртинах были посажены резеда, левкой и белые цветы табака, которые

по вечерам после поливки пахли сладко и опьянительно. Цветы были исключительной областью Екатерины Федоровны, русской швейцарки, подруги матери по институту, которая, оказавшись временно без пристанища, приехала к нам погостить на месяц и прожила в нашем доме тридцать лет, воспитавши всех детей, от старшей сестры и до меня включительно.

В конце «маленького сада» была крокетная площадка, а перед забором, где через калитку можно было выйти на дорогу, стояла беседка. Около нее росла высоченная, выше шпилей дома, старая береза, которая все грозила упасть, но, быть может, стоит и до сих пор.

Через мостик из «маленького сада» люди попадали в «большой сад». Там росли старые липы, стояла баня, а по бокам сада две аллеи, обсаженные елями, вели по скату вниз к речке, в которой имелись места, где можно было купаться. Речка эта называется Кулза и впадает в Обнору, Обнора в Кострому, а та в Волгу.

Надворные постройки ничем замечательны не были, если не считать амбара, где на чердаке среди всякой рухляди я откопал раз части флейты, целый кларнет и медную валторну, что показывает, что у кого-то из прадедов был свой домашний оркестр. В каретном сарае тоже имелся один памятник старины: возок, то есть карета на полозьях. В нем через Любим бабушка ездила прямо в Ярославль, и в этом возке, в дороге, по семейному преданию, родилась одна из теток и, что всего замечательнее, осталась жива. По этому поводу вспоминается некрасовское: «Удобен, прочен и легок на диво слаженный возок». Что бабушкин возок был прочен, видно было невооруженным глазом, но что он был «легок», не думаю. Меньше чем четверка здоровых коней его, пожалуй, и с места не сдвинула бы.

Большой соболевский дом был на две трети деревянный, а все постройки, лежавшие через дорогу, скотный двор и избы для рабочих, были сплошь каменные. Объяснялось это тем, что отец, который всю жизнь пекся об общем благе и которому надоели постоянные пожары, в один прекрасный день решил начать застраивать нашу округу каменными домами. На своей же земле он нашел место, где имелась в изобилии подходящая глина, и построил кирпичный завод, причем объявил, что зарабатывать на этом деле он не желает, а всем соседям обязуется отпустить кирпич по себестоимости. Для вящей наглядности у себя в усадьбе он возвел четыре кирпичные постройки. Соседи приходили, любовались, одобрительно качали головами, но дальше этого дело так и не пошло. И это притом, что сторона наша была вовсе не бедная, большинство крестьян ходило на отхожие промыслы в Москву и в Петербург и чуть ли не в каждой деревне имелись свои профессиональные каменщики. Но на моей памяти во всех окрестных пяти деревнях у нас не было ни одного каменного дома.

В 1891 году отец скоропостижно умер, и после его смерти мало-помалу вся наша семья начала распадаться. Старшая сестра уехала учиться в Париж, двое других вышли замуж, братья отправились один в университет в Москву, другой в корпус в Нижний Новгород. Дом на Соборной площади был продан, а мать с верной Екатериной Федоровной и нашей старой нянькой, которая понемножку превратилась в кухарку, переехала на квартиру.

Квартира эта в городе Ярославле на Срубной улице, за которую мать платила 31 рубль в месяц, состояла из целого этажа с мезонином в каменном доме купцов Волковых, тех самых, из которых когда-то вышел первый русский актер Федор Волков. Следующий дом по той же улице принадлежал купцам Собиновым. Знаменитый тенор Леонид Собинов учился тогда в одном классе Ярославской гимназии с моим старшим братом и часто бывал у нас в доме.

5 августа 1896 года, в девятилетнем возрасте, после экзамена, где мне было предложено решить задачу, которую я не решил, написать басню «Кот и повар», что я сделал хорошо, и рассказать о Всемирном потопе, картину которого я изобразил с увлечением, я был принят в 1-й класс Ярославского кадетского корпуса.

Большинство старых кадет о времени, проведенном в корпусе, вспоминают с благодарностью и с удовольствием. Никак не могу сказать этого про себя. Для меня пребывание в корпусе было тюрьмой, где нужно было отсидеть семь лет и купить этим право на дальнейшее, уже

более приятное существование. Условия жизни были со всячинкой. Кое-что было недурно, как, например, учительский состав, кое-что выносимо, но были вещи отвратительные и безобразные. Состав воспитанников был неплохой, в подавляющем большинстве своем сыновья бедных офицерских семейств. Перевалив через критический возраст, 15 лет, все они понемногу принимали человеческий облик, но в первых четырех классах процветала нарочитая, чаще всего напускная, грубость и отчаянное сквернословие, служившее признаком молодечества.

Из ругательств было, впрочем, выражение, употреблять которое кадетским кодексом приличий было запрещено.

Это было обыкновенное трехэтажное ругательство, одно время столь распространенное в русском народе. Считалось, что это оскорбляет родителей, а за такое оскорбление обидчику полагалось «искровянить морду». И если ты сам не в силах был это сделать, то разрешалось обратиться за помощью к первому силачу в классе, и тот, так сказать уже от лица класса, производил экзекуцию. Само собою разумеется, что ни о наущничестве, ни о фискальстве не было и помину. Если класс решал молчать и врать, то все героически молчали и врали. Нужно сказать, что и воспитатели, все сами бывшие кадеты, к сыскным приемам не прибегали, а когда нужно было «взгреть», грели всех попавшихся огулом, предоставляя виновным выходить и сознаваться.

Одевали нас хорошо, не в корпусе, а когда уходили в отпуск, но кормили скверно. И все мальчишки знали, что из «экономических сумм», эконом, то есть заведующий хозяйством, получающий сто рублей жалованья в месяц, проигрывает сотни рублей в лучших гостиницах города, а для директора выписывается из Москвы великолепная кожаная мебель и покупаются коляски и пары рысаков. Хуже всего было то, что когда являлось высокое начальство, как по мановению волшебного жезла, вся картина радикально менялась. Водяной суп превращался в наваристый жирный бульон, а осклизлые серые котлеты, с непрожаренным мясом внутри, становились «пожарскими». И все остальное в том же духе.

Помню наезды великого князя Константина Константиновича, один, а иногда и два раза в год. К. К., тогда главный начальник военно-учебных заведений, был добрый и хороший человек и по-своему искренно любил молодежь. Но на его примере как нельзя больше чувствовалось, что нельзя было давать в государстве ответственные должности безответственным лицам. На это можно возразить, что в благоустроенном государстве безответственных лиц вообще быть не должно, и это совершенно справедливо. Но я описываю то время, когда такие лица еще существовали.

К. К. приезжал обыкновенно на два, на три дня и останавливался в квартире директора. С его приездом все в корпусе преображалось. Полы устилались красными дорожками, кадетам выдавались новые мундиры и кормить начинали так, как никогда. В классах для виду шли уроки, но всякая работа фактически прекращалась, так как каждый преподаватель лихорадочно ожидал высокого посещения. Лучшим ученикам доверительно сообщалось, кого и приблизительно что каждого будут спрашивать. Директор корпуса, генерал польского происхождения, влюбленными глазами смотрел на великого князя и порхал по всему зданию в поисках того, что еще могло бы доставить удовольствие высокому гостю. В этих поисках он напал на счастливую мысль внушить великому князю, что кадеты будут счастливы, если каждый из них получит из его рук беленькую картонную карточку с его подписью. Спешно послали в город купить 500 карточек, и, плотно окруженный толпой жадно на него смотревших мальчишек, К. К., с терпением, достойным лучшего применения, карандашом принялся писать или «Константин», или просто «К.».

Помню, раз провожали его самым необычным образом. Было начало ноября, и поезд в Москву отходил в двенадцать часов ночи. И вот, несмотря на то, что всем малышам давно полагалось бы спать, весь корпус, от мала до велика, отправился на вокзал, до которого было больше километра расстояния. Впереди шел оркестр кадетской музыки, по бокам старший

класс нес зажженные факелы, а в центре, наподобие того, как во время крестных ходов носили образа, на плечах несли кресло, покрытое красным сукном. На кресле, плывя над толпой, восседал К. К. и ближайших носильщиков щелкал по головам.

Вот как русским детям преподавался сверху наглядный урок подхалимства и очковитательства. Я не говорю, что среди молодежи при посещениях великого князя не было энтузиазма. Он, конечно, был, и самый неподдельный, который К. К. по наивности принимал на свой счет. Но думается мне, что если бы при тех же условиях, то есть с нарушением всем опостылевшей казенной рутины, со сложением всех наказаний, с превращением скверной и скудной пищи в обильную и прекрасную и с разрешением гонять лодыря в течение трех дней, вместо великого князя Константина Константиновича Ярославский кадетский корпус посетил бы тибетский далай-лама, энтузиазм был бы ничуть не меньше.

Я отнюдь не хочу сказать, что такие же безобразия происходили всюду. От многих старых кадет мне приходилось слышать, что при серьезных и достойных директорах, которых было немало, когда в корпуса приезжал К. К., там все шло строго по заведенному порядку, и начальству показывалась жизнь не парадная, а будничная, каждодневная. К сожалению, я могу говорить только о том, что я сам видел.

Корпусная администрация делилась на две части: учебную и воспитательную. Во главе всего заведения стоял директор, которому, кроме учебной и воспитательной, подчинялась и хозяйственная часть. В учебную часть входил преподавательский состав, подчинявшийся инспектору классов. Иногда инспектор, в большинстве случаев полковник с академическим значком, чтобы подработать, сам брался преподавать какой-нибудь предмет, законоведение или математику. Помню рыжего артиллериста полковника Мартьянова, который тригонометрию и аналитику умудрялся преподавать так интересно, что, несмотря на все мое равнодушие к математическим наукам, я до сих пор могу сказать, что собой представляют синус, косинус, парабола и гиперболола.

Как я уже говорил, учительский состав у нас был вовсе не плохой. Было два-три недурных математика и прекрасный физик – молодой поляк Блажеевич. Недурен был учитель истории Ловецкий, отлично говоривший, много знавший и очень неглупый человек. Учитель русского языка, Василий Дмитриевич Образцов, ходивший под кличкой Васюха, для самых старших классов, может быть, и не годился, но в младших и средних был хорош. Русских часов у нас было шесть в неделю, то есть каждый день, и из них один или два непременно «пересказы» и «изложения». Человек добросовестный, каждый божий день он уносил с собой на дом горы тетрадей. А на следующее утро приносил их назад в класс и производил «разбор».

– Вот, Заркевич, вы написали, что в Швейцарии разводят прелестный скот. Можно так сказать или нет? А как нужно? А как еще можно? А про кого или про что можно сказать «прелестный»?

Без насмешек и издевательств он учил нас правильному и точному употреблению слов, наука немаловажная, и таким путем отечественному (!) языку он нас выучил, и за это большое ему спасибо. Излишне говорить, что к бедному Заркевичу кличка «прелестный скот» прилипла навсегда.

Было два отличных немца (слово «наци» тогда еще не было выдуманно) Глезер и Пецольд. Они под шумок составили учебник немецкого языка, настолько хороший, что он вскоре был принят как обязательное руководство для всех военно-учебных заведений. Года за два до нашего выпуска нам прислали из Петербурга молодого священника, магистранта богословия отца Кремлевского. Мальчишки дали ему прозвище: поп Иуда. Поп Иуда был очень некрасив, все лицо изрыто оспой, но очень симпатичен, феноменально образован и необычайно умен. Поначалу попробовали было задавать ему каверзные вопросы насчет религии и сразу же закалялись. С ласковой улыбкой он раз или два посадил вопрошавшего в такую глубокую калошу, что бедняга, при общем смехе, долго не мог из нее выкарабкаться. По-настоящему богословие

он нам не преподавал, а, подобрав полы своей черной худенькой ряски, усаживался на первую парту лицом к классу и начинал говорить на какие угодно темы, часто литературные. Слушали все его с раскрытыми ртами. Пробыл он у нас недолго. Года через два после нашего выпуска милого попа Иуду начальство куда-то убрало, решив вероятно, что для будущих офицеров умные священники слишком опасный элемент.

Отдельно от учительской стояла воспитательная часть. По этому признаку весь корпус делился на три роты, иначе говоря, на три возраста. В младшую, 3-ю роту, где в зале на переменах всегда стоял невероятный шум и гвалт, входили 1, 2 и 3-й классы. Во 2-ю – средний возраст, 14–15 лет, – входили 4-й и 5-й классы, а в 1-й роте, так называемой строевой, числились старшие классы, 6-й и 7-й. Во главе рот стояли ротные командиры, полковники, а каждым отделением – в классе обыкновенно по два, иногда по три – заведовал свой «отделенный» воспитатель, чином от поручика до подполковника.

В отделении насчитывалось обыкновенно от 20 до 30 мальчиков. В сравнении со строевыми офицерами в армии офицеры-воспитатели в кадетских корпусах имели немаловажные преимущества. В корпусе им давалась квартира с отоплением и освещением и 100 рублей в месяц жалованья. Кроме того, через каждые три года им выходило производство в следующий чин. На протяжении 7–8 лет от поручика люди доходили до подполковника и в этом чине обыкновенно замерзали. В подполковниках можно было сидеть и десять, и пятнадцать лет, вплоть до отставки и все на тех же 100 рублях жалованья.

Воспитатели поочередно дежурили в ротах, круглые сутки, один раз в четыре или шесть дней, в зависимости от числа отделений в роте, подавали звонки и команды «строиться» и следили за порядком. В старших классах, чье сегодня дежурство, Завадского, Зейдлица или Гришкова, было более или менее все равно, но в младших оно имело большое значение. На дежурстве одного можно было безнаказанно беситься и валять дурака, а при другом за то же самое можно было попасть «на штраф», иначе говоря, стать на час к стенке, остаться «без третьего блюда» или даже «на одном супе». При одном входе в ротный зал можно было безошибочно сказать, чье сегодня дежурство.

Кроме дежурств, гимнастики и строевых занятий, которые назывались «фронт» и производились два раза в неделю до часу, в обязанности воспитателя входило присутствие в классах на вечерних занятиях во время приготовления уроков, от шести до восьми часов вечера. Вот, собственно, и все. Из сказанного видно, что в наше время офицеры-воспитатели работой перегружены не были. По инструкции полагалось им во время вечерних занятий следить, чтобы мальчики занимались, и помогать тем, кому это было нужно. На практике это сводилось к тому, что воспитатель приходил в класс, садился за учительский стол и читал там книгу или газету. Обращаться к нему за объяснениями и в голову никому бы не пришло. Все науки были ими столь основательно забыты, что никто из них не только теоремы или уравнения, но и самой немудреной арифметической задачи не смог бы объяснить.

В последние годы Главное управление военно-учебных заведений основало в Петербурге одногодние курсы для воспитателей. Поочередно они отправлялись в столицу, слушали там лекции по педагогике, психологии и всякие прочие и через год возвращались домой совершенно такими же, какими уезжали, ни лучше, ни умнее. О воспитании юношества писали и пишут умные люди уже несколько сотен лет, а наука до сих пор еще не выяснила, насколько оно вообще возможно. Несомненно одно, что «научиться» воспитывать нельзя и что дар обращения с детьми, совершенно так же, как дар понимать и учить животных, дается природой, и что ум, знания и количество прочитанных книг тут совершенно ни при чем.

Лучшим воспитателем, которого я помню, был самый обыкновенный, чистой души, добрый и хороший человек, совсем не умный и вовсе не образованный. Ни на какие «курсы» он не ездил и о том, как нужно воспитывать молодежь, наврное, никогда не размышлял. Черноторый, с ослепительными зубами, огромный мужчина, с мальчишками вверенного ему

отделения он обращался совершенно так же, как со своими двумя собственными сыновьями, отчаянными шалопаями, которые учились в том же классе. Он с ними шутил, хохотал и рассказывал им свои охотничьи приключения. А когда малыши ему слишком надоедали, он, случалось, громовым голосом на них орал и давал им пинки и подзатыльники, от которых они разлетались в разные стороны и сейчас же сам об этом забывал. И конечно, никому и в голову не пришло бы на него за это обидеться. Действуя не умом, а сердцем, он никогда заранее не думал, что, кому и когда он скажет, а поступал стихийно, а так как стихия была добрая, все выходило хорошо.

Как все охотники, он был собачник, и его рыжий сеттер и пара гончих свободно бегали по всему корпусу и водили дружбу с кадетами. Несколько старших мальчиков, имевших охотничьи ружья, держали их у него на квартире, а под праздники компания человек в десять, забрав с собой хлеба и казенных котлет, под его предводительством, отправлялась с ночевкой на охоту. Ночевали где-нибудь в деревне, и если было холодно, все выпивали водки. Звали этого, на мой взгляд, самого лучшего из наших воспитателей Михаил Владимирович Гришков. В чине подполковника он просидел 13 лет.

На мое несчастье, мне в воспитатели попался неглупый и довольно образованный, но злой, мстительный и самовлюбленный человек, один из тех, которых к воспитанию юношества не следовало бы подпускать на пушечный выстрел. Я его ненавидел, и то, что в полной от него зависимости мне пришлось провести семь лет, окрасило в мрачный цвет все мое пребывание в Ярославском кадетском корпусе.

29 августа 1903 года я явился в Первое Павловское военное училище, помещавшееся на Большой Спасской улице. Здание училища было довольно мрачного типа, по преданию, переделанное из какой-то фабрики, огромный темно-серый каменный ящик, но внутри помещительное и удобное. Когда я поступил, электричества в училище еще не было, и каждый вечер старый ламповщик, маленький обезьянообразный Михаил Иванович, большой шутник и балагур, со своей лесенкой бегал по ротам и зажигал большие медные керосиновые лампы.

Все семь человек нашего корпуса, в шинелях внакидку, выстроились по росту перед дежурной комнатой, задрали головы и вытянулись в струнку. По ранжиру в шеренге я стоял вторым. Через несколько минут к нам вышел пожилой корпулентный офицер с рыжей бородкой и по-старинному с золотой цепочкой по борту сюртука. В свое время мы узнали, что это был батальонный командир полковник Кареев, гроза юнкеров, особенно младшего курса, которых он жучил немилосердно. Узнали мы также, что ходил он под кличкой Мордобой, хотя, как выяснилось впоследствии, никому из юнкеров он «морд» никогда не бил, а, наоборот, в обращении с ними был грубовато-вежлив. Мордобой окинул нас орлиным взглядом и хриплым басом пролаял:

– Ярославский корпус. Ну вот... Вы приняты в Первое Павловское военное училище... вот... лучшее училище и держите, вот, его знамя высоко. Вы уже, вот, не мальчики, а юнкера, нижние чины, ну вот, и скоро присягу будете принимать, понимаете?

– Так точно, понимаем, господин полковник! – гаркнули мы и не столько поняли, сколько почувствовали, что это не корпус и что мы попали в такое заведение, где с нами шутить не будут.

Мордобой разбил нас на четыре роты, причем мы, двое самых высоких, попали в первую роту, иначе «роту его величества», что обозначало, что на погонах мы будем носить царские вензеля.

Отправились мы в Е. В. роту и там нас встретил ротный командир, капитан Герцик, маленький человек и тоже с рыжей бородкой, но только не лопатой, как у Мордобоя, а клиншком. Он не лаял, а довольно ласково поговорил с каждым и послал нас в цейхгауз переодеться, где нами и занялся толстый и важный каптенармус Тарновский. В цейхгаузе мы получили обмундирование каждого дня, то есть белую полотняную рубашку с погонами, на

которых уже блестели вензеля, кожаные пояса с бляхами, сапоги с рыжими голенищами и черные штаны навывпуск. Как оказалось впоследствии, эти рубашки и черные штаны нам в училище полагалось носить всегда, в роте, утром в классах во время лекций, вечером во время «репетиций», за завтраком и за обедом и во время подготовки к репетициям. Мундиры и высокие сапоги надевались только в отпуск и на строевые занятия.

Выйдя из цейхгауза уже юнкерами, мы сразу поняли, что жизнь наша радикально переменялась к лучшему. Первое, что нас приятно удивило, это была свобода передвижения. В противоположность корпусу, где каждый должен был сидеть в своей роте, а если нужно было выйти, то полагалось отпрашиваться, юнкера могли свободно расхаживать по всему зданию училища, пойти в другую роту, в читальню, в чайную и вообще в пределах законного чувствовать себя взрослыми и свободными людьми.

Исчезло обращение на «ты» и куда-то скрылись офицеры. Вместо дежурного воспитателя, у которого в корпусе вы всегда были на глазах, в училище был один дежурный офицер, один на все училище, который постоянно сидел в нижнем этаже у себя в дежурной комнате и обходил роты только два раза в сутки, утром во время вставания и раз ночью. Свои ротные офицеры показывались обыкновенно раз в день, на строевых занятиях, на гимнастике и на «уставах». Раз-два в день показывался ротный командир. Все же остальное время в качестве начальства над нами наблюдали свои же юнкера старшего курса: фельдфебель, портупей-юнкер, заведующий младшим курсом, так называемый «козерожий папаша» (юнкера младшего курса носили довольно нелепую кличку «козерогов») и дежурный по роте.

В кавалерийских училищах, особенно в Николаевском, существовало «цуканье», то есть совершенно незаконная власть юнкеров старшего курса над юнкерами младшего. Там юнкер старшего курса, так называемый «офицер», над первогодником «молодым» мог безнаказанно проделывать всякие штуки, нередко переходившие в форменное издевательство. Он мог приказать ему обежать 10 раз кругом зала, дать ему 20 приседаний или 50 поворотов. И если «молодой» дорожил своим положением в училище, ему приходилось все это с веселой улыбкой выполнять. В умном Павловском училище ничего этого не водилось. Кроме законного уважения младшего к старшему, отношения были строго уставные. Фельдфебель, «козерожий папаша» или взводный мог вам сделать замечание и мог приказать доложить об этом вашему курсовому офицеру. Но все такие выговоры и замечания делались в серьезной и корректной форме и всегда были заслуженны.

Как и в корпусе, училищная администрация делилась на две совершенно независимые друг от друга части: учебную и строевую. Как и в корпусе, учебной частью ведал инспектор классов, но, в отличие от корпуса, если не считать двух-трех штатных учителей, весь преподавательский персонал в училище был «вольнонаемный». Это были офицеры Генерального штаба, окончившие академию артиллеристы, военные инженеры и профессора университета. А так как за лекции училище платило хорошо, то это давало ему возможность иметь состав лекторов совершенно первоклассный. Отлично преподавал механику генерал Сухинский, артиллерию – полковник Дурново, тактику и военную историю – полковники Николаев и Новицкий, а топографию – подполковник Иностранцев. Единственным слабым преподавателем был профессор химии, да и то главным образом потому, что химию, состоящую из одних сухих формул, без лабораторий, интересно преподавать было немислимо.

Одним из блестящих преподавателей по русской литературе был приват-доцент университета Тарле. На его лекции, хотя это было и запрещено, тайком пробирались юнкера из других классов.

Часть строевая была организована проще простого. Училище представляло собою батальон с батальонным командиром и адъютантом и четырьмя ротными командирами. У каждого ротного командира под начальством было два младших офицера, они же курсовые офицеры младшего и старшего курса.

Распорядок дня в училище был такой. Вставали уже не в шесть часов, как в корпусе, а в семь, и не по барабану или горнисту, а по команде дежурного. 20 минут давалось на одеванье и мытье, а затем роту выстраивал фельдфебель, пелась короткая молитва, а затем строем же шли вниз в столовую пить чай. Из столовой уже поодиночке заходили в роту за книгами и поднимались на третий этаж, где помещались классы.

В 8 часов 10 минут приходили преподаватели и начинались лекции. Говорю «лекции», а не «уроки», потому что система преподавания была лекционная. По каждому предмету полагалось прочесть известное число лекций, чтобы закончить «отдел», который нужно было сдавать тому же преподавателю на «репетициях». Репетиции производились в тех же классах, по понедельникам и средам, начинались в шесть часов и затягивались нередко до десяти и одиннадцати вечера. В противоположность корпусным урокам, где каждый вел приблизительный расчет, когда его спросят, и где можно было «проскочить», училищные репетиции было дело серьезное. Спрашивали всех по списку и в течение 10–15 минут прощупывали каждого до костей, гоняя его по всему отделу.

Утренние лекции кончались в 12 часов, и в 12 часов 30 минут все строем шли завтракать. Кормили в училище очень хорошо, пища была простая, но сытная и вкусная. Из юнкеров старшего курса каждый день один назначался «дежурным по кухне», и на его обязанности было следить, чтобы вся провизия, которая полагалась по раскладке, была бы надлежащим образом использована.

От двух до четырех с половиной занимались строевыми занятиями, гимнастикой, фехтованием и уставами. На строевые занятия нужно было переодеваться в мундиры и высокие сапоги. Производились занятия или в огромном манеже, помещавшемся через улицу, или на большом училищном плацу. На плацу, памятуя заветы основателя училища, гроссмейстера плацпарадной науки императора Павла, с одушевлением занимались тихим шагом (так чтобы ступня ноги, идя все время параллельно земле, выносилась на аршин вперед), молодецкой стойкой и лихими ружейными приемами. В этих последних юнкера достигали предельной ловкости и чистоты, часто практикуясь в роте перед зеркалом, в свободное время и не будучи никем к тому понуждаемы.

Вернувшись в роту после занятий, все переодевались в белые рубашки и длинные штаны и к пяти часам шли на обед. Как всегда, в столовую шли строем, а возвращались одиночным порядком. По средам, в дни репетиций старшего курса, в столовой за обедом играла музыка. После шести часов наступало «свободное время», и каждый мог заниматься, чем ему угодно. В училище была недурная библиотека, и в читальне на столах лежали журналы и газеты. Существовала «чайная комната». Там по дешевым ценам отпускались стаканы чаю и продавались булки, всякие печенья и сладости. У каждого корпуса был свой стол. Наконец, вечером можно было пойти в «портретный зал». Там стоял рояль, и там любители занимались вокальным и музыкальным искусством.

Самое умное было, конечно, пойти заниматься, то есть готовиться к очередной репетиции в большой комнате, где по стенам стояли шинельные шкафы, а посередине столы и стулья и которая носила название зубрилки. В зубрилке требовалось соблюдать тишину, и все ее нарушавшие оттуда немедленно изгонялись. Помню, что первые два месяца все мои репетиции регулярно оканчивались скандальным провалом, единственно потому, что я, как и многие другие первогодники, не научился еще надлежащим образом распределять свое время. В корпусе были «вечерние занятия», куда приходил воспитатель и на которых волей-неволей заниматься приходилось. В училище никто над душой у тебя не стоял, и после обеда ты официально был свободен. А затем как-то незаметно подкрадывалась понедельничная репетиция, скверная еще и потому, что приходилась после праздничного отпуска, и в шесть часов вечера молодому человеку приходилось отправляться на заклание. И если он на репетиции проваливался, то виноват был он сам и никто больше, так как времени для подготовки было достаточно. Ни о

каком лицепрятияи, конечно, не могло быть и речи, так как экзаменовавший вряд ли мог знать всех отвечавших юнкеров в лицо.

Вообще, чем хорошо было училище, это тем, что за нами, первый раз после семи лет, признавали права, правда, небольшие, права нижнего чина, но все же права. На несправедливости и грубости можно было жаловаться. Помню, раз уже на старшем курсе, на уроке верховой езды, идя в смене первым номером, я нарочно пошел полной рысью, заставляя всю смену скакать за мной галопом. Наш инструктор, лихой штабс-ротмистр Гудима, несколько раз мне кричал: «Первый номер, короче повод!», наконец потерял терпение, огрел меня бичом по ноге и выругался непечатно. На удар бичом нельзя было обидеться. Тот, кто гоняет смену, всегда мог сказать, что хотел ударить по лошади, но на ругань я обозлился и, выйдя из манежа, принес официальную жалобу батальонному командиру. Конец был такой. За шалости на уроке верховой езды меня посадили на двое суток, но на следующем уроке, в присутствии всей смены, Гудима передо мной извинился.

В отпуск из училища отпускали по субботам после завтрака на воскресенье, по праздникам и по средам. Все желающие идти в отпуск должны были записаться в книгу, которая подписывалась ротным командиром. Случалось, что за какую-нибудь провинность из книги вас вычеркивали.

В течение целых двух лет, особенно на младшем курсе, процедура увольнения в отпуск была для юнкеров сложная и довольно страшная. Рядом с главной лестницей, на площадке перед дежурной комнатой, было вделано в стену огромное зеркало, больше человеческого роста. Дежурный по училищу офицер отпускал юнкеров в определенные часы, в два, в четыре и в шесть. К этому часу со всех четырех рот на площадку перед зеркалом собирались группы юнкеров, одетых, вымытых и вычищенных так, что лучше нельзя. Все, что было на юнкере медного, герб на шапке, бляха на поясе, вензеля на погонах, пуговицы, все было начищено толченым кирпичом и блестело ослепительно. На шинели ни пушинки и все скидки расправлены и уложены. Перчатки белее снега. Сапоги сияли. Башлык, если дело было зимою, сзади не торчал колом, а плотно прилегал к спине, спереди же лежал крест-накрест, правая лопасть сверху, и обе вылезали из-под пояса ровнехонько на два пальца, не больше и не меньше. В таком великолепии собирались юнкера перед зеркалом, оглядывая себя и друг друга и всегда еще находя что-нибудь разглядить, подтянуть или выправить. Наконец били часы, и из дежурной комнаты раздавался голос офицера: «Являться!»

Топография местности была такая: от зеркала на площадку нужно было сделать несколько шагов, повернуть направо и углубиться в длинный узенький коридорчик, куда войти можно было только по одному. Пройдя бодрым шагом коридорчик, юнкер дебушировал<sup>2</sup> в дежурную комнату, где прямо против коридорного устья за письменным столом сидел дежурный офицер и орлиным взором оглядывал приближающегося. Остановившись в двух шагах перед столом, юнкер со щелчком приставлял ногу. Одновременно взлетала к головному убору его правая рука в перчатке, и не как-нибудь, а в одной плоскости с плечом, таким образом, что никому близко справа от юнкера стоять не рекомендовалось. Непосредственно за щелчком ноги и взмахом руки нужно было громко, отчетливо и не торопясь произнести следующую фразу: «Господин капитан, позвольте билет юнкеру такой-то роты такому-то, уволенному в город до поздних часов, билет номер такой-то». На это мог последовать ответ в разных вариантах. Например, то, что случалось чаще всего, главным образом на младшем курсе: «К зеркалу!» Это обозначало, что острый глаз начальства подметил какую-то крохотную неисправность в одежде и что всю явку нужно начинать сначала. Для этого нужно было вернуться к зеркалу, повертеться перед ним, спросить совета товарищей и еще раз встать в хвост.

---

<sup>2</sup> Дебушировать – от военного термина «дебуширование», то есть выход войск из теснины (горного ущелья, узкого прохода и т. д.) на более широкое место.

Могли сказать и так: «Явитесь в следующую явку!» Это обозначало более серьезную неисправность, вроде пришитой вверх ногами пуговицы с орлом. Тогда всю музыку нужно было начинать снова через два часа.

Говорилось и так: «Не умеете являться. Вернитесь в роту и разденьтесь!» Это обозначало, кроме пролетевшего отпуска, всякие другие неприятные осложнения жизни, как, например, доклад курсовому офицеру и ротному командиру и экстра-практика в отдании чести, в явках, в рапортах и т. п.

Фраза, которую являвшийся юнкер надеялся услышать, состояла из двух слов: «Берите билет». Эта фраза произносилась тогда, когда на странице отпускной книги, которую замыкала подпись ротного командира, значилась и пребывала невычеркнутой фамилия искомого юнкера и когда в его одежде, выправке и рапорте самый требовательный комар не мог бы подточить носа.

Услышав эту приятную фразу, юнкер опускал руку и неуверенными пальцами, в перчатках это было особенно неудобно, начинал в деревянном ящике отыскивать свой картонный отпускной билет, служивший ему целый год. Нашедши оный, юнкер подымал голову и руку к головному убору и по слову: «ступайте» или «идите», делал лихой поворот направо, с первым шагом левой ноги опускал руку и покидал дежурную комнату уже через другую боковую дверь, выходящую прямо на главную лестницу. Только тогда, но отнюдь не раньше юнкер мог по совести считать, что в этот отпускной день он в городе будет.

Случались, однако, неприятные казусы и за дверями училища. На обыкновенно весьма пустынной Большой Спасской улице в отпускные дни в ожидании седоков всегда стояла длинная вереница извозчиков. Была суббота, было холодно и накрапывал дождь. Благополучно пройдя все искусства, с билетом за обшлагом, я выскочил из подъезда, сел на извозчика с поднятым верхом, возница застегнул фартук, мы тронулись. Еду по широкой пустой улице и краем глаза вижу, что навстречу мне в полуоткрытом экипаже едет батальонный командир, он же Мордобой. При данных обстоятельствах я мог сделать две вещи. Или податься корпусом сильно вперед и отдать честь по всей форме, но с риском, что мою честь не заметят и не примут. Или откинуться корпусом сильно назад, под защиту поднятого верха, и сделать вид, что извозчик едет пустой. Я выбрал второе и жестоко попался. Извозчик был остановлен, я оттуда извлечен, и этот отпуск и несколько последующих мне пришлось провести в училище.

Скажу еще несколько слов о коридорчике, который вел в дежурную комнату и по которому являвшиеся под острым взором дежурного офицера должны были проходить. Был он важен не столько для уходивших в отпуск, сколько для возвращавшихся из оногo. Пьянства в стенах училища у нас не было, но из чистого мальчишества в отпуске некоторые выпивали. И вот, когда они, с легкой мухой, возвращались и являлись, тут нужно было держать ухо востро. По коридору нужно было пройти прямехонько, как стрела, и рапорт выговорить чисто. До того, чтобы подходить ближе и нюхать, пахнет вином или нет, ни один офицер не унижался. Оценка состояния юнкера шла в двух направлениях: свобода движения его ног и языка. Если и то и другое функционировало нормально, хотя и можно было подозревать, что юноша выпил, тогда все в порядке. Если же нет, тогда беда. Юнкер попадал в третий разряд по поведению, что означало выпуск в полк в звании не офицерском, а нижнего чина. Таким образом преследовалось не столько употребление вина, сколько злоупотребление им. Этот разумный и здоровый принцип мы применяли потом и в полку, когда, будучи дежурными офицерами, принимали своих чинов, возвращавшихся из отпуска после переключки.

Кстати, тут уместно будет рассказать об одном из моих немногих столкновений с Мордобоем. Ближайший результат всякого столкновения подчиненного с начальством обыкновенно бывает тот же, что при столкновении грузовика с велосипедом. Велосипед неминуемо разбивается в лепешку. Моя лепешка была даже не так уж обидна, потому что старик был прав. Я хотел его перехитрить, но перехитрил меня он. Нужно сказать, что одевали нас в училище

хорошо. Отпускные шинель, мундир и шаровары были всегда новые и даже недурно пригнаны. Сапоги были только одного сорта, немного лучше казенных солдатских. Их мы надевали на строевые занятия, и назывались они не очень приличным словом, похожим на «самоходы». Сапоги эти, черного товара, надеть в отпуск было рискованно. Могла пострадать светлая мягкая мебель или белое платье в вихре вальса. Поэтому все без исключения юнкера заказывали себе у сапожников-поставщиков училища одну или две пары высоких офицерских сапог, лакированных или шагреновых. Сапоги эти надевались в отпуск, а потом года два-три носились и в офицерском звании. Делались сапоги в кредит, «в счет производства», то есть в счет тех 250 рублей, которые казна каждому молодому офицеру выдавала на обмундировку. Большинство таким же образом заказывало себе и шаровары. Они также годились на последующую жизнь, так как снабдить их красным офицерским кантом стоило трешницу.

Немало юнкеров заказывало себе и мундиры, что тоже выходило недорого. Делалось это главным образом потому, что в строгом форменном мундире высота воротника полагалась всего в два пальца, что при не короткой и не толстой шее, нужно признаться, было довольно некрасиво. Кроме того, собственные мундиры на своей же училищной швальне<sup>3</sup> шились, конечно, лучше, строго по мерке, в талию, и разрешалась даже некоторая небольшая подбавка в плечах. Белые замшевые перчатки, которые стоили всего полтора рубля, нужно было иметь свои. Все остальные предметы обмундирования полагалось иметь казенные. Носить свой лакированный нашьтычник<sup>4</sup> или ножны на тесаке, в противоположность московским училищам, у нас считалось в высшей степени «моветон». Всю остальную собственную одежду нет, но мундиры нужно было показывать ротному командиру, который на воротники несколько выше форменного смотрел обыкновенно сквозь пальцы.

По поступлении в училище я сразу сшил себе сапоги, шаровары и мундир, с воротником чуть не времен Николая I, под самый подбородок, и уже, разумеется, на утверждение начальства его не представлял, держа его для безопасности там, куда ходил в отпуск.

На Рождество 1903–1904 года я поехал к родственникам в Варшаву. Брат тетки Олфевьев был там управляющим отделением Государственного банка, а муж старшей сестры служил штаб-офицером для поручений при обер-полицмейстере Лихачеве. В то время красавица Варшава уже 40 лет пользовалась благами мира, и люди в ней жили сытно и весело. Русские и поляки держались особняком, но отношения были если не дружелюбные, то корректные. На Рождество, еще больше, чем всегда, Краковское предместье<sup>5</sup>, Новый Свет, Маршалковская – все было залито светом, и зеркальные окна роскошных магазинов соблазняли оживленную, прекрасно одетую, праздничную толпу. Повсюду сновали пароконные извозчики на резиновых шинах, и в воздухе чувствовался не наш, русский, а немножко промозглый холод, с острым запахом каменного угля. Несчастливая красавица Варшава! Сколько горя ей потом пришлось пережить!..

Вечера, балы, театры – всего этого в этот мой приезд в Варшаву я попробовал всласть и 6 января вечером с грустным сердцем явился назад в училище. Из осторожности николаевских времен мундир я оставил в Варшаве, наказав сестре выслать его потом на мой отпускной адрес в Петербург. Письма юнкеров, и входящие и исходящие, наше начальство не читало, но приходящие посылки просматривались, так же как и вещи, которые юнкера привозили из отпуска. Когда со своим желтым кожаным чемоданом, который жив у меня и поныне, я вошел в дежурную комнату «являться», там было еще два офицера, мой ротный командир капитан Герцик и сам Мордобой. Я благополучно явился и раскрыл чемодан. Мордобой взглянул поверхностно и вдруг спрашивает: «Ну вот, а собственный мундир у вас есть?» – «Так точно, есть». – «Вы

---

<sup>3</sup> Швальня – портняжная мастерская (*устар.*).

<sup>4</sup> Наштычник – ножны на штык.

<sup>5</sup> Краковское предместье – прогулочный проспект Варшавы.

его показывали ротному командиру?» – «Никак нет, не показывал». – «Где же ваш мундир?» – «Я его оставил у сестры в Варшаве». – «Ну вот, и напишите сестре, чтобы она вам его прислала и на училище, поняли?» – «Так точно, понял, господин полковник».

На следующий день пишу сестре: «Милая Ольга, пожалуйста, сделай поскорее то, что я тебя прошу. Тот мундир, который я у тебя оставил, попроси Володю отдать в какую-нибудь полковую швальню, пусть из него там сделают строго форменную одежду. Главное воротник, пусть его понизят до двух пальцев, там уже знают все форменные размеры. Сделай это поскорее, а то мне здорово влетит. Когда будет готово, вышли мундир мне на адрес училища, юнкеру Е. В. роты, Павловское военное училище, Большая Спасская, Санкт-Петербург».

Сестра меня любила, и через неделю я получил открытку: «Не беспокойся, все будет сделано, как ты просил». Еще через две недели вечером сижу в зубрилке и готовлюсь к очередной репетиции по механике. Входит дневальный и передает мне приказание немедленно явиться в дежурную комнату. С беспокойным сердцем, наверное какая-нибудь гадость, иду. Почтительно вхожу и вижу: на столе стоит посылка, а на диване сидит Мордобой и курит папиросу.

«Вам пришла посылка, что это такое?» – «Это мундир, который мне прислали из Варшавы, господин полковник». – «Какой мундир?»

Я напомнил, а затем распаковал посылку и со спокойным торжеством вытянул мундир, который узнать нельзя было. Все было строго по форме, и галун, и воротник, и все прочее. Почтительно, но с видом: «Что, взял, старый черт?» – я разложил его на столе. Мордобой взглянул на мундир, потом посмотрел на меня в упор и выпалил: «Ну вот, и сядьте на трое суток под арест!» Я сел.

Мой первый учебный год в училище ознаменовался началом Японской войны 29 января 1904 года. Событие это училищные порядки никак не затронуло, но в нашу жизнь внесло некоторое оживление. Мы стали читать газеты и на лекциях офицеров Генерального штаба просили рассказывать нам о том, как идут дела. Те охотно делились с нами всем, что знали, причем русские действия не стеснялись критиковать с полной откровенностью. Особенно доставалось заместнику Алексееву и адмиралу Старку, самым позорным образом проворонившим японское нападение на нашу Порт-Артурскую эскадру.

Правда, этот случай нападения без объявления войны был первым в истории цивилизованных народов. Но еще удивительнее, что через 37 лет североамериканские адмиралы, из которых все старшее поколение должно было помнить Порт-Артурское нападение, в Пёрл-Харборе проделали совершенно то же самое.

В начале мая училище по железной дороге перевезли в лагерь. В лагерях в Красном Селе наше место было на самом левом фланге авангардного лагеря, который стоял под прямым углом к главному. Нашими соседями справа был 3-й Гвардейский Финский стрелковый батальон, где все солдаты и офицеры были финны и где все разговоры велись по-фински. По-русски подавались только строевые команды. Царя они величали «высочеством», так как для них он был «великий князь Финляндский». И очень странно было видеть через дорогу русских солдат и слышать, как они между собой разговаривают на чужом и непонятном языке.

В лагерях помещались мы не в палатках, как прочие войска, а в огромных бараках, по бараку на роту, где над каждой кроватью висела скатка с котелком, а в головах стояла винтовка. Никаких лекций и репетиций у нас в лагерях не было, а вся умственная работа ограничивалась полуинструментальной съемкой, работа, о которой военным рассказывать не приходится.

С раннего утра, забравши с собой холодные котлеты с хлебом, на училищном языке «мертвецов», и разбившись на небольшие группы, с планшетами на треноге, с кипрегелем, с алидадой и с десятком вех, нагруженные как мулы, мы расходились по окрестностям Дудергофа с тем, чтобы вернуться в училище только к вечеру и сразу же при свечах засесть за поправки и подчистки наших не слишком искусных чертежей. И несмотря на все наши старания, мало кому удавалось обойтись без «невязок». Если «невязки» получались скандальные,

величиною больше сантиметра, ваш планшет красным карандашом перечеркивался крест-накрест и всю музыку приходилось начинать снова.

На практике из четырех человек группы всегда находился кто-нибудь, кто умел хорошо рисовать. Ему и поручалась главная задача. Остальные исполняли черную работу, послушно бегали, ставили вехи и безропотно таскали тяжелые инструменты. Когда погода была ясная, съемки были довольно интересное занятие. Но при мелком дожде с ветром, когда стекла инструментов поминутно приходилось протирать, когда карандаш на планшете расплывался, когда водяная пыль мешала поймать «волосок» и когда на «самоходах» налипали тяжелые комья глины, занятие это сразу теряло всю свою привлекательность. В хорошую погоду, если за утро успевали наработать столько, что не стыдно было показать заведующему партией, нашему же курсовому офицеру, и после полудня, особенно если поверяющий успел уже проехать, остаток дня весело проводили в какой-нибудь «чайной», или «молочной», или у дачников, с которыми быстро заводили знакомства, и которые тружеников «бедных мальчиков» охотно пригревали и поили чаем.

По окончании сезона съемок проходили курс стрельбы и самый полный курс всевозможных строевых учений, возведение окопов, рассыпной строй, сомкнутый строй и, как венец всего, батальонные учения, когда Мордобой взбирался на лошадь, а наши ученые и важные курсовые офицеры, все окончившие военную академию капитаны, становились на полуроты. Нередко для практики ходили церемониальным маршем развернутым строем роты и приучались не «отрываться», не «ломать» и не «выгибать» фронта.

Идти полным ходом и держать идеальное равнение во взводе – сущие пустяки. В полуроте уже много труднее, а в развернутой роте и совсем трудно. Все же после нескольких репетиций мы научились проделывать это артистически. Не теснились, штыки несли круто, шаг широкий и бодрый, крепкая нога, правая рука наотмашь назад и фронт прямой как стрела. В 1945 году мне удалось увидеть фильм майского парада на Красной площади в Москве. Перед маршалом Сталиным в голове колонны лихо проходили офицерские части. Без лишней скромности могу сказать, что в свое время наше училище ходило не хуже. Изю дня в день мы несли караульную службу, стояли часовыми у знамени и у денежного ящика, а на передней линейке, под грибами, и днем и ночью всегда торчало двое дневальных.

Много удовольствий доставляло нам Дудергофское озеро, которое лежало тут же под горкой и от которого наши бараки отделяла одна широкая дорога. Все четыре военных училища, наше Павловское, Константиновское артиллерийское, Михайловское артиллерийское и Николаевское кавалерийское располагались по берегу этой огромной, но довольно мелкой лужи, причем у каждого училища была своя пристань и свои весельные лодки. Самая большая лодка, имевшая удивительное свойство не опрокидываться и в честь юнкерских строевых сапог носившая название, скажем, «самоход», была у нас. «Самоход» был собственно баркас, легко вмещал 15 человек и мог ходить под парусом. На озере, куда каждый после занятий мог свободно идти, спросившись только у дежурного, существовали свои «морские» правила. При встрече с лодками других училищ рулевой обязан был командовать: «Весла на воду» – и поворотом головы отдавать честь.

На практике это, однако, не соблюдалось. При встрече с константиновцами, они же «костоперы» или «костопупы», с которыми наше училище водило дружбу, мы обменивались приветствиями и шутками. С михайловцами делали вид, что мы незнакомы, а с кавалеристами вели словесную войну, обкладывая их если не последними, то предпоследними словами. Пиратский же корабль «самоход», с которым из-за его почтенного тоннажа не могла справиться на озере ни одна лодка, при встречах с николаевцами поднимал на мачте черный флаг и пытался брать их на абордаж и топить. То обстоятельство, что никто из врагов не побывал в воде, объясняется исключительно тем, что нашему грузному кораблю гоняться за их быстрыми четверками и шестерками было не под силу.

Раз дошло до того, что эскадронный командир николаевцев пожаловался на нас Мордобою. Тот поступил круто. Жестоко нас разнес и на две недели оставил «без озера», приказав запереть все лодки на цепь, и припечатал замки своей собственной сургучной печатью. После этого морская война с николаевцами сама собой кончилась.

4 августа 1904 года нас по железной дороге перевезли из лагеря назад в Петербург. Помню хорошо дату, так как, когда мы с Балтийского вокзала строем шли домой в училище и проходили по Морской, в магазине Дациаро был выставлен огромный портрет Чехова, обвитый черным крепом. В этот день он умер от чахотки в Баденвейлере в Германии. Из училища нас отпустили в двухнедельный отпуск, а к 1 сентября весь младший курс, уже превратившийся в старший, снова собрался в сером каменном ящике на Большой Спасской, и снова потянулись лекции, репетиции, строевые занятия, «чайная» и вся здоровая и умно налаженная училищная рутина, о которой под старость так приятно вспомнить.

\* \* \*

Уже с 5-го класса корпуса я стал думать, какую мне выбрать себе дорогу. По этому вопросу мать никаких советов мне не давала, благоразумно рассудив, что дело это исключительно мое. Ко всякого рода «технике» у меня с самых ранних лет никакой склонности не наблюдалось. При плохой глазной памяти, по математике я шел только-только что прилично, занимался ею без всякого удовольствия и потому в инженеры, в артиллерию или в высшие гражданские технические учебные заведения, где требовался конкурсный экзамен, дорога мне была закрыта. Наоборот, всякая «словесность», история, география, языки, давались мне легко и в них я всегда, можно сказать, преуспевал. Русские сочинения мои иногда читались в классе, а когда требовалось на концерте или перед начальством произнести французское стихотворение Ламартина или Виктора Гюго, выпускали меня.

Одно время я серьезно подумывал поступить в Московский университет на историко-филологический факультет, куда с аттестатом кадетского корпуса принимали после легкого экзамена по латыни. Боюсь, что немаловажную роль в этом намерении играла не столько любовь к науке, сколько желание пожить на свободе в Москве, походить по театрам и окунуться в ту особенную жизнь учащейся молодежи, о которой я так много читал и слышал и которая, если не голодать, а от этого я был застрахован, таила в себе столько радостей. Перед университетом была еще короткая полоса увлечения театром, когда я собирался поступить на сцену.

Наконец, и это увлечение прошло, и ко времени выпуска из корпуса я окончательно решил ехать в Петербург в Павловское военное училище, чтобы оттуда выходить в гвардию, а там видно будет. Выбор полка был также сделан. Это был лейб-гвардии Измайловский полк, где когда-то служил мой отец. Еще на первом курсе училища, одевшись с особым тщанием, в одну из суббот я отправился в Измайловский полк, разыскал полковую канцелярию и предстал перед полковым адъютантом штабс-капитаном Вадимом Разгильдяевым. В опровержение фамилии, вид у адъютанта был в высшей степени подобранный, подтянутый и отчетливый.

– Вы говорите, что ваш отец служил в нашем полку? Тогда, разумеется, вы будете приняты. Я вас представлю командиру полка, а затем офицеры, для формы, вас пробаллотировать... Но вы еще на младшем курсе? Это немножко рано. Зайдите ко мне будущей зимой, и мы все устроим и пошлем вам в училище вакансию. Как ваши успехи в науках? Гвардейские баллы? Ну, вот и отлично. Значит, до будущего года.

Крепкое рукопожатие, я со щелчком поворачиваюсь кругом и иначе как несколько лет спустя, в другой форме и в качестве гостя, в Измайловский полк больше не появляюсь.

По существовавшим неписаным правилам, будучи принятым в один гвардейский полк, выйти офицером в другой было уже невозможно. В каждом полку официально считалось, что из всей русской армии их полк самый лучший, поэтому на всякие колебания в выборе полка

смотрели косо. На это обижались совершенно так же, как если бы какая-нибудь девица узнала, что молодой человек не решается, кому сделать предложение, ей или ее подруге.

Помню один случай, когда юнкер Николаевского кавалерийского училища пожелал выйти в Конно-гренадерский полк и был туда принят. Потом ему вдруг показалось, что в гвардейских уланах служить приятнее, и он сунулся в Уланский полк. Но там узнали, что раньше он представлялся конно-гренадерам, и его не приняли. На его беду, и конно-гренадерам стало известно, что, будучи принят у них, он пытался поступить к соседям, и прием его был аннулирован. Дорога в гвардию молодому человеку оказалась закрыта, и ему пришлось выйти в кавалерийский полк на Украине, где его приключений не знали. Яркий пример того, как неопытные юноши могли сесть между двух стульев.

Таким образом, если бы измайловский адъютант поторопился и пустил бы дело о моем приеме в ход тогда же, вместо того, чтобы отложить его на год, я носил бы белый околыш вместо синего, и вся моя последующая жизнь могла бы сложиться иначе.

Зимой 1904 года из Москвы в Петербург приехал по делам мой родственник и остановился у своего приятеля, капитана Семеновского полка П-ва. П-в был холост, жил широко и занимал большую квартиру в офицерском доме на Загородном, где всегда имелась свободная комната «для гостей». Из училища я ходил в отпуск к одному из старых друзей нашей семьи, тоже старому холостяку, но, узнав о приезде родственника, в одно из воскресений отправился его навестить, и с этого дня началось мое близкое знакомство с Семеновским полком.

Капитан П-в был примечательная личность главным образом потому, что всю свою жизнь никогда ничего не делал и никогда не имел ни минуты свободного времени. Когда-то он окончил Московское Александровское военное училище, но к тому времени, как я его узнал, ни московского, ни военного, кроме военной формы, у него не осталось ни одной черточки. Расписание дня его было приблизительно такое. Вставал никогда не раньше девяти часов и потом около часа в своей прекрасной белого дерева спальне мылся, брился, причесывался и навел на себя красоту. Тут же в спальню ему подавался кофе. Иногда, часов в одиннадцать, он отправлялся в роту, на часок, но еще чаще оставался дома, так как в нездоровом петербургском климате выходить по утрам из дому без крайней нужды не любил. Тогда наблюдалась такая картина. В спальню входил денщик и докладывал:

– Вашесродие, фельдфебель пришли!

– Позови его сюда.

Через минуту в дверях показывалась фигура огромного молодца, сверхсрочного фельдфебеля.

– Вашесродие, разрешите войти?

Фельдфебель входил осторожно и почтительно становился в пяти шагах за стулом, на коем в белом, пушистом халате сидела тонкая офеминированная<sup>6</sup> фигура «барина», внимательно отделявавшего себе ногти. Через голову капитана, в большое трехстворчатое зеркало на туалетном столе, фельдфебель мог любоваться породистыми чертами капитанского лица.

– Здравствуй, Кобеляцкий! – говорил «барин», чуть-чуть шепелявя.

– Здравия желаю, вашесродие! – отвечал фельдфебель, из уважения к месту в четверть голоса.

Фельдфебель Яков Кобеляцкий был в 3-й роте полный и неограниченный хозяин и был умнее своего капитана по крайней мере раз в пять. Но он не понимал ни белого пушистого халата, ни хрустальных флаконов на диковинном стеклянном столе, ни приятного запаха, исходящего от капитанской особы... А так как людям свойственно питать уважение к тому, что они не понимают (закон обожествления непонятого), то и фельдфебель Кобеляцкий, помимо велений воинской дисциплины, искренно почитал капитана П-ва и признавал его существом

---

<sup>6</sup> От слова «феминный», то есть характерный для женщин.

другого, высшего порядка. Это, конечно, не мешало ему вертеть ротным командиром, как ему было угодно.

– Ну что, в роте все благополучно?

– Так точно, вашесродие, все слава богу.

Засим начинался доклад ротных дел, денщик приносил из кабинета серебряную чернильницу и тут же, без лишних разговоров, на туалетном столе, капитан все подписывал.

– Так, я сегодня не приду. Скажи поручику, чтобы продолжали занятия по расписанию.

– Слушаюсь, вашесродие, счастливо оставаться, ваше-сродие.

Фельдфебель Кобеляцкий на цыпочках выходил из капитанской спальни и сразу же становился другим человеком. Пока продолжался этот разговор, в казарме 3-й роты младший офицер подпоручик Гульденбалк-де-Гийдль, замечательный только своей неудобопроизносимой фамилией, мучением солдатских языков, уныло бродил по коридору и ежеминутно поглядывал на часы. Узнав от фельдфебеля, что капитан сегодня в роту не придет, он уже на законном основании «прорезывал» послеобеденные занятия.

После визита фельдфебеля капитан П-в читал газеты или садился за свой прекрасный письменный стол, с многочисленными фотографиями в серебряных и кожаных рамках, все с надписями. За столом он писал письма или занимался своими финансовыми делами. После двенадцати денщик подавал ему отлично вычищенный сюртук, длинные штаны со штрипками и тонкие шевровые ботинки. Капитан облачался, клал в карман чистый носовой платок, предварительно его надушив, и уезжал из дому, обыкновенно уже на целый день, возвращаясь вечером, только если для обеда или бала нужно было переодеться в мундир или надеть эполеты.

Прямо из дому он ехал или завтракать к знакомым, если были приглашения, или в Английский клуб, где был членом, или во французскую гостиницу, или, наконец, в [офицерское] собрание. Позавтракав там и выпив полбутылки красного вина, он любил сыграть два-три короля в пикет, всегда с одним и тем же партнером, с которым у него были одинаковые светские вкусы. Между тремя и пятью капитана П-ва можно было видеть в самых разнообразных местах, на выставках картин, в банках и даже министерствах, где у него всюду были приятели. Между пятью и семью он «делал визиты», а затем ехал обедать или в клуб, или в знакомые дома. Приглашений у него всегда было больше, чем он мог принять. Вечера он также проводил в семейных домах, иногда в театре, и раньше часа почти никогда домой не возвращался.

В гостиной у П-ва стояло очень хорошенькое красного дерева маленькое пианино, но за все наше долгое знакомство я видел его играющим всего два-три раза. В репертуаре его значились: «Осень» Чайковского, 4-й полонез Шопена и «Лесной царь» Шуберта. Все эти вещи он исполнял с большим чувством и с такой же мазней.

По рождению и по воспитанию П-в принадлежал к самой обыкновенной среднедворянской семье. Носил обыкновенную фамилию и без всякого титула. Был не глуп, но и не умен. Ни остроумием, ни веселостью и вообще никакими талантами, ценимыми в обществе, он не блистал. Ничем, кроме хорошего воспитания и хороших манер, которые в его кругу были обязательными, он похвалиться не мог. И тем не менее его охотно принимали в самом большом петербургском свете, в таких домах, которые имели репутацию очень закрытых и очень исключительных. Еще одно лишнее доказательство, что бывший петербургский «большой свет» был круг отнюдь не замкнутый и что проникнуть туда, при наличии некоторых самых скромных внешних данных, было вовсе не трудно, было бы только время и желание.

П-в был не чужд и изящной литературе. Он на собственный счет, «на правах рукописи» напечатал книжку своих стихотворений. Издание было прелестное, на самой лучшей толстой матовой бумаге и с очень красивой кремовой обложкой. Содержание было много хуже. Все больше о неразделенной любви, сентиментальная дребедень небезукоризненной формы. Из пятисот напечатанных экземпляров около двухсот он роздал своим знакомым. Порядочная стопка всегда лежала в собрании наготове для раздачи. Молодые офицеры принимали и веж-

ливо благодарили. Офицеры постарше говорили: «Ты хочешь мне подарить свои стихи? Но ты забыл, ты мне уже дал одну книжку и с очень милой надписью. Может быть, это твоя вторая? Ах, та же самая... Так у меня она уже есть, спасибо...»

Щедрая раздача книжек шла, впрочем, и с другого конца. Денщик П-ва Охрименко, который явно подделывался под изящные вкусы своего капитана, охотно дарил ее приятелям денщикам, но уже без надписи.

В квартире П-ва из большой передней с отличным стенным зеркалом дверь вела в «библиотеку», комнату, которую иначе и назвать было нельзя. Посередине стоял большой стол, покрытый сукном, около него удобные кресла со спинками, а вдоль трех стен, от полу до потолка, полки с книгами. Чтобы достать книгу с верхней полки, нужно было приставлять лесенку. Книги были по истории и по литературе, на трех языках, которыми прилично владел хозяин, главным образом французские. Немного подозрительно было лишь одно: все книги были в отличных переплетах и все стояли по ранжиру. У настоящих любителей книг такого идеального порядка обыкновенно не замечается. Внимательному взгляду было ясно, что в эту комнату книги приносились не поодиночке, подобранные хозяином то здесь, то там, по своему вкусу, а въезжали они сюда в ящиках, прямо из книжных магазинов, упакованные приказчиками по списку. Въезжали они в «библиотеку», попадали на полки и жили там, подолгу хозяином не тревожимые.

Прекрасная библиотека капитана П-ва все-таки не совсем пропадала втуне. Были люди, которые ею пользовались, иногда с ведома, но еще чаще без ведома хозяина. П-в любил молодежь. В офицерском доме, в маленьких квартирах, поодиночке и по двое, жило несколько молодых людей, к которым он особенно благоволил. Эта молодежь, веселая, способная и самоуверенная, смотрела на квартиру П-ва как на свою собственную, курила его папиросы, пила его чай, ела его сухари, читала его книги, а с хозяином обращалась самым бесцеремонным образом, при каждом удобном случае ласково подымая его на смех. Добродушное издевательство над П-м, над его зеркалами, хрустальными флаконами, щетками, изнеженностью и стародевическими привычками, в этом кружке, состоявшем из подпоручиков, самое большее по третьему году службы, было совершенно обязательно и начиналось обыкновенно со второго года знакомства. Скажу в скобках, что я имел наглость перестать принимать его всерьез еще раньше, почти сразу же, как надел форму, вследствие чего отношения наши явно испортились.

В воспоминание Китайской войны, которая отошла три года назад и познакомила Россию с диковинными именами китайских героев, вся эта молодежь стала называть себя «китайскими генералами», выработала устав тайного китайского общества и понаделала себе имена из первых букв фамилии. Главных основных генералов, учредителей общества, было пять. Генерал Кру (Крузенштерн), генерал Сю (Сюннерберг), генерал Ра (Рагозин), генерал Ро (Романовский) и генерал Фа (Фадеев). Сам П-в был возведен в звание «генералиссимуса и главного мандарина», и ему была поднесена китайская шапочка с тремя шариками на макушке.

«Генералы» были блестящие молодые люди, но занимались своей наружностью ровно столько, сколько это было необходимо. На элегантных сюртуках у трех из них красовались белые мальтийские крестики Пажеского корпуса. Четвертый окончил Павловское училище на два года раньше, чем я. Пятый был студентом университета. Дальнейшая их судьба была самая разнообразная. Кру окончил военную академию и во время войны был в штабе Северного фронта. Сю ушел с военной службы и уехал служить в Китай. Фа вышел с полком на войну, но по слабости здоровья почти не воевал. Ра по страстной любви женился на известной балерине Лидии Кякшт, подруге и соученице Карсавиной, ушел из полка и уехал с женой жить в Англию. Когда началась война, он спешно вернулся, был два раза ранен, заработал Георгиевский крест и Георгиевское оружие, для младшего офицера награды исключительные, а затем поступил в канадские войска рядовым и в 1919 году демобилизовался майором канадской службы. Ро окончил военную академию. В 1914 году, будучи капитаном Генерального штаба и старшим

адъютантом штаба дивизии, он, в критическую минуту, собрал и лично повел в наступление остатки одного из полков. Был смертельно ранен и получил посмертного Георгия. В наши времена для штабного офицера поступок редкий.

Что же касается до «генералиссимуса и главного мандарина», то, когда в 1907 году в гвардии подуло свежим ветерком, он должен был уйти в отставку. При отставке, в воздаяние его бесспорных заслуг перед российской армией, он был пожалован в звание «камергера высочайшего двора» и во время войны проводил время в Красном Кресте.

Когда я, в юнкерской форме и несколько робея, первый раз явился на квартиру капитана П-ва в офицерском доме Семеновского полка, меня встретили очень приветливо. Уже со второго свидания «генералы» стали меня допрашивать, почему, собственно, я выхожу в Измайловский полк. Говорю:

– Там служил мой отец.

– И что же, в полку его помнят?

– Вряд ли, если принять во внимание, что отец поступил в полк еще в царствование Николая I.

– Ну, видите... А у нас из вашей семьи никто не служил?

– Служил дядя Ушаков, брат матери.

Справились в полковой истории, нашли нескольких Ушаковых. Из них один был дядя Яков.

– Ну что же, основания выходить в Измайловский полк или в Семеновский, в сущности, одинаковые. Исключительно сентиментальные... Предки ваши служили при царе Горохе, и их ни здесь, ни там не помнят. Измайльтяне, конечно, отличный народ... Но не забудьте, что нас основал сам Петр, а их какая-то немецкая Анна Ивановна... «Бирон царил при Анне, он сущий был жандарм...» Мы – «Петровская бригада»... И нагрудный знак будете носить... Во всей русской армии есть только два полка, которые его имеют... Преображенцы и мы...

– Да я уже представлялся в Измайловский полк.

– Вас баллотировали или нет? Нет? Ну, значит, вы свободный человек... Право, идите к нам, вам у нас лучше будет.

Должен сознаться, что «генералы» сразу же произвели на меня большое впечатление. Я стал колебаться, а потом как-то так вышло, что об Измайловском полку речь больше не поднималась. С этого времени, еще задолго до выпуска и до баллотировки, я был неофициально, но прочно принят в семеновскую семью.

Мои отпуска из училища я проводил в другом месте, но почти каждый праздник заходил на несколько часов в офицерский дом и вскоре перезнакомился с половиной офицеров. В «библиотеке» П-ва я сделался своим человеком и часто сидел там один за книгой. Хозяина, по обыкновению, дома не было. Мне серьезно рекомендовали прочесть двухтомную полковую историю. Я ее прочел, и тот факт, что я собирался надеть форму части, в которой служили Орлов-Чесменский, Суворов-Рымникский и Дибич-Забалканский, преисполнил мое юношеское сердце гордостью. Я выучился играть на рояле и петь полковой марш и когда доходил до слов:

Семеновцы были всегда впереди  
И честь дорога им, как крест на груди,  
Погибнуть для Руси семеновец рад,  
Не ищет он славы, не ищет наград... —

голос у меня дрожал и мурашки пробегали по спине. Через несколько месяцев я уже окончательно проникся убеждением, что знаменитее, славнее и вообще лучше Семеновского

полка в российской армии нет и никогда не будет и что я очень счастливый человек, что имею возможность в такой полк идти служить.

Каждого солдата в бескозырке с синим околышем, которого я встречал на Загородном проспекте, мне хотелось остановить и вступить с ним в разговор. Это я иногда и делал, и таким образом завел несколько интересных знакомств. Солдат и юнкер оба состояли в звании «нижних чинов» и потому могли свободно зайти в заведение, куда таких чинов пускали, и раздавить там по-товарищески «пару пива». Пиво стоило 30 копеек за две бутылки, и я с моим юнкерским бюджетом в 25 рублей в месяц, которые аккуратно получал от матери, мог свободно позволять себе такую роскошь.

В нормальные годы, после второй зимы в училище, юнкера вторично выступали в лагеря, участвовали в малых маневрах и по окончании их, в самых первых числах августа, производились в офицеры. По причине еще тянувшейся Японской войны мы, юнкера старшего курса, этих вторых лагерей избежали. В конце марта мы сдали выпускные экзамены, затем недели три занимались глазомерной съемкой на Островах, а на 22 апреля 1905 года был назначен день производства.

После раннего завтрака мы, строем, с винтовками на плечо (ношение их на ремне тогда еще введено не было), промаршировали на Царскосельский вокзал, разместились по вагонам и к десяти часам утра, вытянувшись в две шеренги, уже стояли на площади перед Екатерининским Большим Царскосельским дворцом. На правом фланге стояли выпускные Пажеского корпуса, затем нашего училища, затем Петербургское военно-топографическое училище, а за ними артиллеристы, инженеры и кавалеристы. Ровно в десять часов утра, одетый в форму Преображенского полка, приехал государь Николай II, поздоровался, прошел по фронту, а затем вышел на середину и поздравил нас с производством в офицеры. Тут же нам роздали приказы о производстве, довольно толстые тетрадки, в которых были поименованы, с обозначением полка, куда выходили, все юнкера Российской империи, которые производились в офицеры в эту самую минуту. Во все военные и юнкерские училища были посланы телеграммы и перед фронтом прочитаны начальством в один и тот же час.

Как сейчас помню, погода в этот день была свежая и серенькая. Но в душах у нас светило такое яркое солнце, что при блеске его все люди и все предметы начинали излучать из себя особенное пасхальное сияние. Царю, который произнес только три слова: «Поздравляю вас офицерами!» и который был органически не способен кого-нибудь воодушевить, было выкрикнуто оглушительное «ура!», не замолкавшее минут пять. По мере того как раздавали приказы, по ниточке выстроенные шеренги расстраивались. Юноши обнимались и целовались, и у всех глаза сияли самым безудержным счастьем. Тем самым курсовым офицерам, которым за два года училищной муштры многие не раз втихомолку мечтали именно в этот день сказать откровенно все, что они о них думают, составляя в уме самые ядовитые фразы, теперь крепко жали руки и совершенно искренне благодарили их «за науку».

Понять счастье этой минуты может только тот, кто ее пережил. Почти все эти новоиспеченные офицеры надели военную форму девять лет тому назад десятилетними мальчиками. И все эти девять лет, семь лет корпуса и два года училища, они не имели почти никаких прав, только обязанности. И вот теперь, по одному слову этого маленького полковника с бородкой, в один миг все эти тысячи юношей получили не обыкновенные права граждан, а права исключительные. В России всегда было множество форм, и из всех этих форм офицерская была самая почетная. Старое Российское государство офицеров своих содержало нищенски, но внешнее уважение офицерскому мундиру оказывалось всюду, и на улице, и в частной жизни. Одним словом, было чему радоваться.

После первых минут сумасшествия, когда царь уехал, мы все по традиции засунули трубочкой свернутые приказы под погоны и разобрались в рядах. Вперед вышли ротные командиры и вместо уставного «смирно!», скомандовали «господа офицеры!». Затем «отделениями,

правые плечи вперед» вытянулись в колонну и пошли на вокзал, там сели в поезд и покатали в Петербург. С Царскосельского вокзала по Загородному, опять же строем, промаршировали на Петербургскую сторону, к зданию училища. Конец не близкий, но молодым ногам при повышенном настроении все было нипочем. В этот день мы все были на ногах с семи часов утра, оттопали в строю километров двадцать, и никто не чувствовал ни малейшей усталости. После позднего завтрака в столовой училища все поднялись в роты, где на каждой койке было уже в порядке разложено офицерское платье. Об этом позаботились старые служители, которых в роте было по одному на десять юнкеров и которые в обыкновенные дни за особую плату чистили нам платье и сапоги. Все мы стали мыться и переодеваться, и должен сказать, что никогда в жизни – ни раньше, ни после – я с таким удовольствием не одевался.

Уже на офицерском положении в училище полагалось жить еще два дня. Нужно было сдать книги и казенные вещи, получить 250 рублей, которые казна давала на шитье офицерской формы, расписаться во многочисленных списках и ведомостях и, наконец, проститься с начальством. Но это все потом, а сейчас, в новой форме, нужно было как можно скорее ехать в город. Военное училище, даже и для офицеров, не могло превращаться в гостиницу. Поэтому все внешние правила продолжали строго соблюдаться. Каждый проходящий и уходящий должен был пройти в дежурную комнату и явиться дежурному офицеру. Но какая разница со страшной процедурой былых отпускных дней. В этот раз, задерживаясь у зеркала только для того, чтобы лишний раз на себя полюбоваться, молодые люди в застегнутых доверху серых летних пальто, легким офицерским шагом проходили по коридорчику, по-офицерски брали под козырек и говорили: «Господин капитан, разрешите ехать в город». Капитан приподымался с места, протягивал руку и говорил приблизительно в таком духе: «Поздравляю вас, только позвольте вам по-товарищески посоветовать... не увлекайтесь... легче на поворотах. Вы понимаете, неприятно все-таки было бы первую ночь в офицерском звании провести в комендантском управлении...»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.